

Воскресенье 12-го августа 1928 года!

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

КНИЖ. ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ  
В Харбине и на линии НВЖД.

6 ЦЕНТ.

**Морская**

1096

ГОД ИЗДАНИЯ 5-й ХАРБИН

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ.

В Харбине и на линии Кн. Вост. жел. дор.  
для клубных, заработавших до 50 коп. . . 1 р. —  
для всех остальных . . . . . 1 р. 25 к.  
для учр. и коммерч. контор на 1 м-ц . . . 2 р. —  
1 месяц—6 коп., на 6 месяцев—12 коп., на год—24 р. —  
остальным частям Китая—на 1 месяц—2 коп., в Японии—  
2 копейки, в СССР—2 черв. руб., в остальных государствах—  
1 американский доллар.

Подписки и объявления в Харбине принимаются в книжной конторе г.з. „Морская“ — Простань, Косная № 11,  
2-й этаж, на ст. Харбин—книжный киоск Кузнецовой.

На линии: во всех книжных киосках Кузнецовой, на ст. ст. Пограничная—у Бокка, Муни—Шайкин, Аман—  
Плотников, Маньгоу—Зайков, Чжалайнор—Черезыченко, Хайла—Малыгу, Чжалайнор—Григорьев,  
Благовещенск—Минин, Новосибирск—Контраг. Почта.

Адрес редакции и конторы: ХАРБИН-ПРИСТАНЬ, КОСНАЯ КЛ. ПУТЕВЫХ РЕДАКЦИИ № 75,  
КОНТОРЫ 84-79 и 28-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

Впервые текст за строку конспирации 1 р. 50 к.  
второй текст . . . . . 1 р. 20 к.  
и третий текст . . . . . 75 к.  
Сторонние сообщения . . . . . 1 р. —  
Спрос и предложение групп (на более 5-ти строк) 1 р. —  
Об утере документов . . . . . 1 р. —

# Чехов без грима

На портрете работы художника Браз изображен средних лет, но уже угасший человек, с рассеянно-страдальческим и страдальческим, безымянным лицом. Вокруг кресла, в котором тяжело и безысходно усеялся человек, — блуждающее, расплывчатое освещение. Струятся сумерки. Тот, кто так печально прилежился к спинке кресла, кажется, готов превратиться в бесплотного духа, совсем угнаться, раствориться в этом сликотном полумраке портрета.

Посмотрев на портрет, наш молодой современник, не всегда хорошо знакомый с иконографией русской литературы, во вольно владеющий множеством укоровившихся литературных словечек, приподымет бровь и снисходительно спросит:

— Это что за чеховский интеллигент?

На портрете Браз изображен не чеховский интеллигент, а сам писатель, Антон Павлович Чехов. Впрочем, ошибка будет простительна в наши дни, когда уж подлинно за всем не усмотришь.

Недаром рассказывают, то ли в шутку, то ли всерьез, как группа детей-экскурсантов бродила по какой-то портретной галлерее. Один из мальчишек, остановившись у портрета Льва Толстого, спросил групповода строго и спокойно.

— А это что за старый хрен в толстовке?

Здесь нечего возмущаться, ломать руки и вызывать к небесам об упадке нравов по поводу того, что толстовку знают, а Толстого — нет.

Ясное дело, если под напором класса обрушивается целое исполнительское здание буржуазного общества со всеми его надстройками, если новое положение полусторамиллионной страны вырастает на противоположном идеологическом корму, чем предыдущее, если десятки миллионов ребят воспитываются без подробной истории дома Романовых, — в этой гигантской политической и культурной чертасовке, конечно, мог на несколько лет сдвинуть даже такой великий, как Толстой.

Всего на несколько лет, потому что уже в этот год государство дало массам широко распространенные толстовские сочинения, оно начало разъяснительную кампанию, приобщая к единственному уцелевшей от Толстого толстовке достаточную оценку произведений гениального писателя и максиметский анализ всех близких и чуждых нам особенностей его творчества.

Через год, пятнадцатого июля 1929 года, исполнится двадцать пять лет со дня смерти Антопа Чехова. Нам безразлично, предстанет ли и этот писатель, лучший русский лите-

ратурный классик конца XIX столетия, в настоящем своем, разграбленном и понятном для масс виде, или он пройдет мимо нас стороной, в зыбком, призрачном облике, с паспортом «чеховского интеллигента», такого, какой изображен на бланке портрета Браз.

О самом этом портрете, который, кстати сказать, стал самым ходячим изображением Чехова, показанное на нем лицо писало в шутливой форме, но достаточно раздраженно:

«Меня пишет Браз. Мастерская. Сажу в кресле с зеленой бархатной спинкой. Белый талстук. Говорят, что и я, и талстук очень похожи, но выражение такое, точно я пьюхался хрену». («Письма», т. V, 23 марта 1898 г.).

И еще, опять, через три года:

«На бразовском портрете выражение у меня такое, словно я накануне пахлой хрену. Это пахлой, ужасно пахлой портрет, особенно на фотографии. Ах, если бы вы знали, как Браз мучил меня, когда писал этот портрет! Писал один портрет тридцать дней, — не удалось; потом приехал ко мне в Ниццу, стал писать другой, писал и до обеда и после обеда, тридцать дней, и вот, если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрете мой». («Письма», т. VI, 13 февраля 1901 г.).

Чехов протестовал против бразовского портрета. Он издевался над портретом, он не хотел видеть себя таким, каким изобразил его Браз. Но двадцатилетия селазно-лирическая суетня буржуазной интеллигенции во круг Чехова — разве это не сплошная бразовский портрет?

Писатель, который с неумолимой художественной и объективно-материалистической правдивостью, исчерпывающе, как никто, до ногтей до последнего вздоха вскрыл дряблую и немощную психику русского среднего обывателя, развенчал его янобы порывы, якобы идеалы и якобы глупости переживания, — этот писатель сам причислен к своим героям, назван их певцом и выразителем! В этом величайшая несправедливость, совершенная над Чеховым его современниками. И эту несправедливость должна исправить наша историческая-объективная в отношении Чехова и чеховских героев эпоха.

Кто больше, чем Чехов, ненавидел и презирал своих героев, кто больше, чем он, создал всю духовную нищету этих людей, уныло-бездарных, беспредметно пишущих как-то заоблачных высот и бессильно равнодушных к окружающей их реальной жизни?

Никто!

«Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь сво-

ей любви, своей глупости и лени, своей жадности к богатствам жизни; идут рабы темного страха перед жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места. Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Пванов или Треляев догадывается, что им нужно сделать, и — умерли».

«Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же это сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?»

«Мимо всей этой скучной, серой массы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с беззащитной толстой на лице и в груди, красивым, искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!»

Так характеризует Чехова тот, кто можно было бы принять за первой шего его принципиального врага.

Так пишет Горький, заматнувший из хмурой пустыни девятидесяти годов в радости, кинувшие будни социалистического сегодня. Кому как не «певцу бури», осуждать «певца сумерек»?

Нет, Горький не поддался на привычные обывательские клички. Он разделил Чехова и «чеховщину», он противопоставил художнику его образы.

Враждебное непонимание отношения Чехова-автора к его собственному материалу началось от ныне неведомого, а некогда грозного критика Скабичевского, величественно спрашивавшего в печати: «есть ли у господина Чехова идеалы?» Оно продолжилось через народническую критику во главе с Михайловским, а затем через буржуазно-либеральную дотанулось до такой революции.

Образ Чехова осел как образ литературного водителя тоскующих и неприспособленных к жизни лишних людей, как чувствительного импрессиониста, знающего только полутона, пишущего вполголоса, непрерывно блестящего и мечтающего.

Таким был заживо замаринован Чехов, как безлестист в марксовом издании своих сочинений. Таким подал был он как драматург на сцене Художественного театра.

Этот образ искажает его посетителя. Сейчас мы живем не с Марксом — издателем старой «Нивы», а с другим Марксом на наших знаменах. Да и Художественный театр, говорят, стал иной. Все же пока мы держим в руках только старые издания чеховских книг и смотрим «Вишневый сад» в старой постановке.

Но надо же хоть к юбилею иметь Чехова в новом, полном падании и чеховские пьесы в новом, более правильном оформлении!

Почти неизвестен Чехов-фальсификат молодой и бойкий задир, настоящий газетчик-общественник, борющийся, насколько это было возможно при жандармском запяте восьмидесятих годов, с самодурством тогдашних московских властей, с надзвательствами купцов и фабрикантов над служащими и рабочими, со всеми зловещими гримасами мешанско-обывательского быта. Серия интереснейших судебных отчетов Чехова по знаменитому делу Скобелевского банка — отдельной книжкой выпущена, что кроме них около двухсот чеховских фальсификатов так и не переизданы до сих пор, так и остались пылиться в старых комплектах газет.

А «Антоша Чехонте» — свежий, сверкающий юмором и нескверной выдумкой бытовой юморист — разве хорошо знает его наша читающая публика, та самая, что улетает целые пуды переводной юмористики, та, что смакует переводного О. Генри, не подозревая, что этот писатель у себя на родине зарекомендовал как «американский Чехов»?

А рассказы о деревне, — если собрать их со всех чеховских томов в один «деревенский том», разве они не дадут классическую, умную, сильную и безотрадную картину деревенской деревни, не менее острую и гораздо более действительную, понятную нам, чем Успенский, Златовратский, Решетников?

А чеховское путешествие на Сахалин, — разве его описание не должно стать распространеннейшей в нашем юношестве книгой, безупречно правильно рисующей мрачные кулисы прежнего социального строя нашей страны?

Что касается пьес, то тут несправедливость обращения с Чеховым, как с автором, прямо вопиет. Не преувеличивая можно заявить, что московский Художественный театр своим истолкованием чеховских пьес больше всего повлиял на искажение облика писателя, на присвоение ему чужого паспорта лытика и «певца безвременья».

Чехов писал свои пьесы — и особенно «Три сестры» и еще более «Вишневый сад», как комедии. А Художественный театр упорно ставил их как драмы. Только и всего!

Еще приступая к будущему «Вишневому саду», Чехов говорил, что хочет написать новую пьесу, «неприменно смешную, очень смешную, по крайней мере по замыслу». «Я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы чорт ходил коромыслом». Отдельные герои возникали у автора не в связи с какими-нибудь психологиче-

скими замыслами, а на основании наспех вымысленных у него комических материалов. Даже Елисейдов, которого так проникновенно играют во МХАТ, возник у Чехова после гастролей в «Эрмитаже» какого-то необыкновенно смешного эксцентрика, изображавшего некоего жонглера.

Писатель кончает пьесу. В письме к Непрочичу-Данченко он называет ее определенно комедией. Он даже смущается количеством веселья, разбросанного по пьесе, он пишет М. П. Антонину, что вышла у него даже не комедия, а фарс, и что он боится, как бы «не досталось от Владимира Ивановича».

Но Владимир Иванович (Непрочич) вместе с Константином Сергеевичем (Станиславским) не стали препираться с автором относительно пьесы, она поступила режиссеру просто показали весь ее характер.

Не говори уже о том, что распределение ролей, предложенное таким близким театру человеком и автором, как Чехов, было полностью отвергнуто, театр сделал буквально все, что было своей постановкой заставить Чехова ненавидеть собственные пьесы.

Конечно, «Вишневый сад» в Художественном театре — полный шумихи спектакль. Но тому, кто переживал лиризм и «настроения» у художественников, думает, что общается с Чеховым, полезно знать, что писал автор об исполнении его вещи по рецепту Станиславского.

А писал он такое:

«Почему на афишах и газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Непрочич и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе выдают положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно мою пьесу. Прости, но я уверяю тебя...».

«Четвертый акт, который должен продолжаться двенадцать минут максимум, у вас идет сорок минут. Одно могу сказать: стужил мне пьесу Станиславский!» («Письма», 29 марта 1904 года).

Никак нельзя сказать, чтобы в момент написания этих писем Чехов был в особом «комедийном» настроении. Он уже окончательно угасал от чахотки, он доживал последние четыре месяца своей жизни. И все-таки — не мог согласиться на то, чтобы сатирическую комедию перефасонили на слезливую драму.

Знал ли об этих протестах главный режиссер Художественного театра? Знал, и даже в мемуарах своих с такой откровенностью рассказывал об «близком Чехове».

«Что его больше всего поразило и с чем он до самой смерти примириться не мог, — это с тем, что «Три

сестры», а впоследствии «Вишневый сад» — это тяжелая драма русской жизни. Он был истинно убежден, что это была веселая комедия, почти водевил! Я не помню, чтоб он с таким жаром отстаивал какое-нибудь другое свое мнение...».

Чехов отстаивал одно, а Художественный театр делал другое. «Социальный заказ» Художественному театру был дан на беспредметную тоску буржуазной интеллигенции по каким-то далеким переживаниям. Руководители театра приспособили пьесу под заказ, а протесты автора — занесли в мемуары.

Совсем неслыханным, не подрисованным никакими Бразами и не загримированным никакими Станиславскими виден Чехов в своих письмах. Но эти шесть томов, раскрывающие богатую личную жизнь большого и умного человека, мало у нас в ходу.

А как проявляется в них настоящий Чехов, моралист, совершенная противоположность всем «чеховским интеллигентам»? Как проступает он сквозь живые краски слезливого портрета Браз!

«Толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к нему дружелюбно... Толстовская философия сильно трогала меня, владела мной лет 6—7 и действовала на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская мавера выражаться рас судительно и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в эгоистичестве и нараве любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса».

«Мое святое святых, это — человеческое тело, здоровый ум, талант, вдохновение и абсолютнейшая свобода — свобода от силы любви...».

В Чехове мы узнаем и настоящего человека, человека, всегда страдавшего от того, что болезнь запирает его в мир из четырех стен.

«Если я врач, то мне нужны больные и больницы; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке. Ну же! хоть кусочек общественно-политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах, без природы, без людей, без отечества, без здоровья, апатия, — это не жизнь!» (Письма т. III).

Личная биография Чехова безупречна, все соприкосновения его с общественной и политической жизнью отмечены активным сочувствием формирующемуся рабочему движению и близким к нему деятелям.

Известен знаменитый «академический инцидент», когда Чехов, в ответ на аннулирование чарем избрания Горького почетным академиком, сам отказался от звания почетного ака-

демика, сообщая об этом великому князю Константину Романову.

В те самые дни, когда подымалась волна революция девяносто пятого года, Чехов умирал в далеком немецком городе. До последних дней переживался он жить в России, радовался первым революционным выступлениям. И вместо того, чтобы, как это ему предлагали бы организовать портрету Браз и гриму, иллюминацию Художественным театром, печататься за судьбу своих «сумеречных людей», «чеховских интеллигентов», он послал им последние произведения, а еще пророчеству жалкую роль буржуазной интеллигенции при первых решающих классовых столкновениях.

«Великие события встанут нас врасплох, как спавших людей, а вы увидите, что купец Сидоров или какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше нас, отбросит нас на самый задний план, и тогда, что сделают больше, чем все мы, встанут вместе. И прежде чем застит зари чужая жизнь, мы обратимся в злоеущих старух и стариков, и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветы» («Письмо»).

Неужели же крупнейший писатель-общественник, смелый и беспощадный сатирик предшествовавшей нам эпохи, чьи герои и до сих пор в новом обличьи, часто с профсоюзными балами, населяют закоулки перестраиваемой страны и еще разводят в ней сморость, неужели этот ценнейший для нас автор даже в двадцатипятилетнюю годовщину своей смерти останется за гримированным чужими руками призраком с неправильно присвоенными документами «певца сумеречных людей»?

Нет! Чехов должен быть разграблен. Мы должны вернуть его в подлинном виде огромным массам нового пролетарского читателя, как неиссякаемый источник художественных образов, как общечеловеческий оптимизм, но еще живой «интеллигентный» в старом смысле, как беспощадного изобретателя всех слабых и отсталых складных сторон формирующегося заново российского гражданина.

Мы предлагаем Чехова и нашей молодой литературе как блестящего учителя формы, короткого рассказа, простого и емкого языка. Наши театры покажут заново чеховские пьесы веселыми, бичующими комедиями какими их написал автор. Наша марксистская критика выправит и восстановит основную сатирико-обличительную магистраль русской литературы: Гоголь — Щедрин — Чехов. Книжки этой магистралю останутся свободными, в ожидании достойных ее продолжателей.